

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

ЕЛИЗАВЕТА ВОДОВОЗОВА



ДНЕВНИКИ
СМОЛЯНКИ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ИНСТИТУТСКИХ ПРАВАХ



Институт благородных девиц

Елизавета Водовозова

**Дневники смолянки.
Воспоминания об
институтских нравах**

«Алгоритм»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Водовозова Е. Н.

Дневники смолянки. Воспоминания об институтских нравах
/ Е. Н. Водовозова — «Алгоритм», 2017 — (Институт
благородных девиц)

ISBN 978-5-906995-39-1

«...Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинения писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово... В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу...» Е. Водовозова Елизавета Водовозова воспитывалась в небогатой дворянской семье. Она подробно описывает трагические и радостные события своей жизни, семейный уклад, учебу в Смольном институте, достоверно воссоздавая для читателей мир девочки, жившей в дореволюционной России. Честный и непредвзятый рассказ писательницы о нравах, царивших в Смольном, позволит вам по-другому взглянуть на эпоху балов и элегантных платьев.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906995-39-1

© Водовозова Е. Н., 2017
© Алгоритм, 2017

Содержание

Глава I	6
Глава II	29
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Елизавета Водовозова
Дневники смолянки
Воспоминания об
институтских нравах

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

* * *

Посвящаю мои воспоминания мужу – товарищу и другу

Глава I

Дореформенный институт

Смольный монастырь. – Прием «новеньких». – Начальница Леонтьева. – Ратманова. – Бегство Голембиовской

Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немислимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения: «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами: «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.

В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, не безынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.

В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких предрозостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России *новую породу людей*.

Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, – это понятно, но посмотрим, что представлял институт почти через сто лет после своего основания.



Смольный институт благородных девиц Санкт-Петербурга первое в России женское учебное заведение (1764), положившее начало женскому образованию в стране

В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью к Александровской половине Смольного (Смольный институт (основан в 1764 году) до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину – дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги¹. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее. – *Примеч. Е. Н. Водовозовой*) с тем, чтобы вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много

¹ В каждой губернии велась дворянским депутатским собранием родословная книга. В третью часть ее вносились лица, получившие дворянское звание на гражданской службе или с пожалованием орденом.

подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.

Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер, не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты...»

Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она не переставая ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.

Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новой подругой, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.

Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.

Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.

Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка² и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель – из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.

Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:

² Воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, то есть младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их Форменное платье – серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой. – Примеч. Е. Н. Водовозовой)

– Где же девочки, тетя?

– Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам – mademoiselle...

Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.

Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева³ была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какою честью оказывает она ему, снисходя до разговора с ним⁴.

Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею⁵. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащих она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «тапан», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь

³ Урожденная Шилова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского. Затем Мария Павловна Шилова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леонтьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухой. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница. – Примеч. Е. Н. Водовозовой.

⁴ Это подтверждают и другие мемуаристы. А. Лазарева в своих «Воспоминаниях воспитанницы Патриотического института дореформенного времени» пишет: «Не говоря о г-же Леонтьевой, поставившей себя в исключительное положение, но и последующие начальницы продолжали держать себя с высокомерною неприступностию и считались в институте какими-то недосыгаемыми божествами. Нужно думать, что благодаря этому и некоторые порядки, описанные г-жой Водовозовой, продолжали еще долго царствовать в Смольном» (Русская старина. 1914. № 8. С. 230).

⁵ О духе раболепства и угодничества, царившем в Смольном, сохранились и другие свидетельства современников, например, запись в дневнике одной из классных дам института (в прошлом его воспитанницы) – Варвары Петровны Быковой, сделанная ею накануне вступления в должность, 22 апреля 1846 года: «... Меня пугает начальство... лишение свободы, раболепный тон, вечная тревога... мелкие неизбежные столкновения». Спустя несколько лет она записывает: «... Нужда и горе приучили переносить унижения... большею частью смиренно стою пред начальством и жду, когда отпустят или пригласят сесть» (Быкова В. П. ... Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб., 1898. С. 152 и 268).

из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святой боже», «божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвечивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!» А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!»



Елизавета Николаевна Водовозова (1844–1923) – русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога Василия Ивановича Водовозова

В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких – к клиросу; в другой же раз вытягивала на середину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашу начальницею, без преувеличения можно сказать,

была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!» (Статс-дама Мария Павловна Леонтьева / сост. З. Е. Мордвинова. С. 85, 93).

По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего со здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.

Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина⁶.

– Мама! Мама! – вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.

Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.

– Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я, прежде всего, попрошу вас покончить с этою сценой... Можете садиться! – И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.

– Видите ли, – снова обратилась начальница к Голембиовской, – каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!

– Испорченных? – переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. – Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!

В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:

– Должны называть начальницу – ваше превосходительство. Вы не имеете права так *вольно* разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!

– Извините, ваше превосходительство, – заговорила переконфуженная Голембиовская. – Я вас назвала не по титулу... Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею...

⁶ Речь идет об А. П. Олонкиной, приемной дочери О. П. Шишкиной, институтской подруги М. П. Леонтьевой. После смерти Шишкиной Леонтьева поселила Олонкину у себя в Смольном в качестве компаньонки (см. Мордвинова З. Е. Статс-дама Мария Павловна Леонтьева, СПб., 1902. С. 50).

Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! – И слезы полились из глаз бедной женщины.

– Мне страшно, мама! – вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.

– Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.

Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастье для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» – и, кивнув головой в сторону m-He Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.

Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы – в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-He Тюфяева резко заметила:

– Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!

– Ах, милая mademoiselle Тюфяева, – с мольбой обратилась к ней Голембиовская, – скажите ей хоть одно ласковое словечко... хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает...

– Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» – вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились беспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! – И она направилась к двери.

– Покорись, дитяtko! Перестань плакать, сердце мое! – покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. – Что же делать, дитяtko! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!

– А! – прошипела Тюфяева. – Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!



Мама и институтки. Иллюстрация к книге Елизаветы Водовозовой. Художник – Е. Самокиш-Судковская.

«Мы никогда ничего, кроме учебников, не читали. Даже в старших классах институтки увлекались небывицами, верили в чудеса. Классные дамы никогда не боролись с этим, а наказывали только за нарушение тишины и порядка. Сами крайне невежественные, они заботились только о красивом произношении французских слов, о хороших манерах, о посещении церкви»

(Елизавета Водовозова)

Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:

– Сжальтесь... Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!

М-ше Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моей матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.

– Молчать! Становиться по парам! – кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой – маленьких впереди, девочек более высокого роста – позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, – классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шаг, – и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.

Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.

В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.

К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, – институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полупшепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! вы не умеете благопристойно держать себя!» Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.

Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а склонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.

Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любо-

пытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколата какая-то бумажка, у другой – чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколата бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) – нам, кофейным, неизвестно.

После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнюю одежду и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.

Воспитанницы гуляли в саду по полчаса, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избежать себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.

Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленно от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живую.

– Что же ты так грустна, милая девочка? – ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услышала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.

– Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.

На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:

– Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, – они и придираются меньше будут к тебе.

Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:

– Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.

– Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, – длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.

Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета – символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавички, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с

лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавички, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.

Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставляло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавички не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила, тяжело ступая, и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменной, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!». К тому же, этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов, а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами.



Воспитанница Смольного института в камлотовом платье. 1889 г.

Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.

Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта, которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка

побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.

Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидела Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.

– Дурная, дурная ты у меня девочка, – нежно журила она меня. – Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром... Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю – узнаю хоть от швейцара, что ты теперь подделываешь... Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку – пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисой!⁷ Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.

Свидание с любимую сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и почувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме⁸. Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.

– Покажи-ка, как тебя нарядили? – спросила меня m-lle Верховская.

– Башмаки с ног падают... – пожаловалась я.

– А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки, – мило пошутила m-lle Верховская.

Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.

– Ах, тетечка, – вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. – Какая вы добрая! Какая вы красавица! – И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три

⁷ А. К. Сент-Илер, бывшая воспитанница Смольного, получила место инспектрисы Александровской половины после смерти мужа, преподавателя французского языка. Она «была прекрасно образованна, отлично знала французский и немецкий языки и преподавала нам (своим детям) все учебные предметы», – писал впоследствии ее сын, известный педагог К. К. Сент-Илер (Воспоминания казенного пансионера о третьей СПб. Гимназии // Русская школа. 1898. № 4. С. 31).

⁸ В дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший (кофейный) и старший (белый) в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение – на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой – под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, – учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди, и одна из них в свободное время могла уезжать из института. – Примеч. Е. Н. Водовозовой.

месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальной почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.

– Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, – отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. – К тому же ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.

Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.

Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.

– А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? – накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету, в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустили на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.

– Ну, это неинтересно! – отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навывкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.

– Почему же не интересно? – в обиду за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. – Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!

– А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! – бросила ей Ратманова.

– Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, – кричали со всех сторон.

Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.

– Я не нуждаюсь в такой дряни! – запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. – Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, – и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.

– Ишь, жаднюга! – насмешливо воскликнула Ратманова.

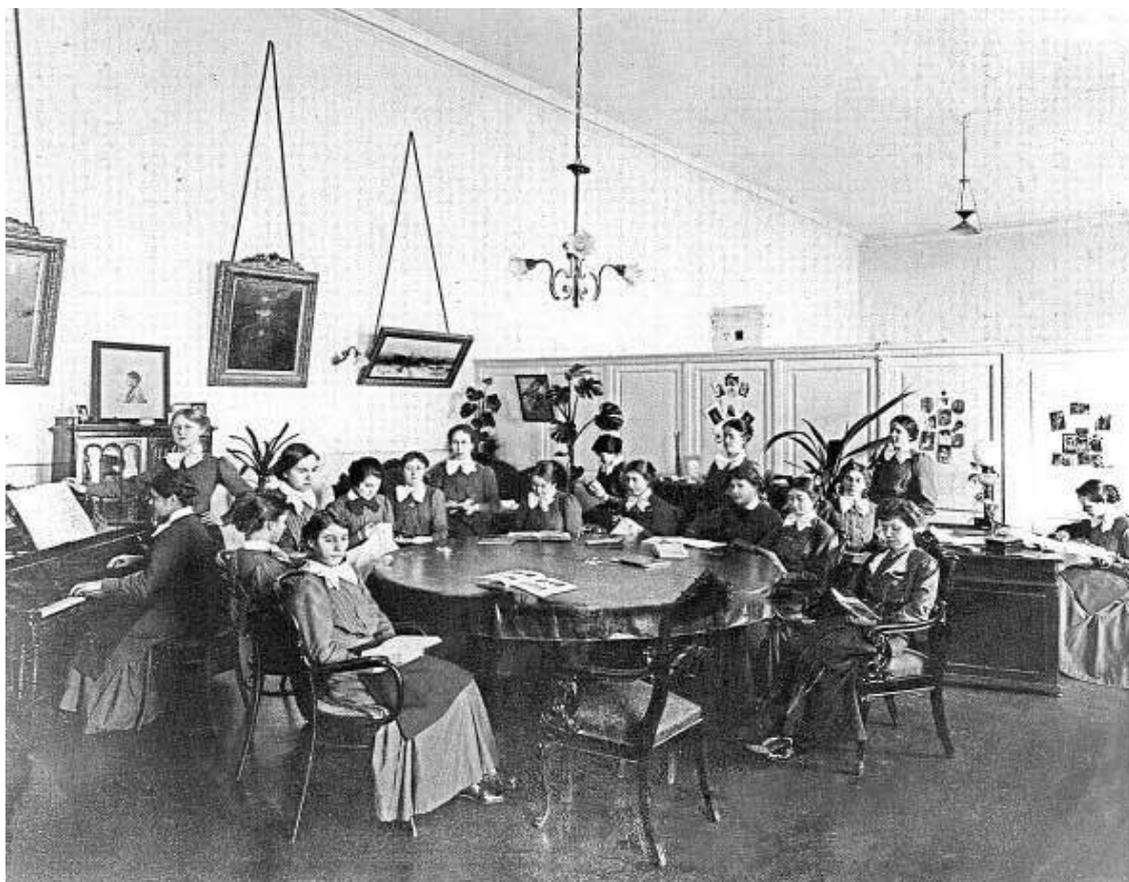
– Нет, нет! Это я только так... Возьми! – и я испуганно подала ей то, что она просила. – А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, – говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди кото-

рых симметрично разложены были птичьи яички. – Это яичко жаворонка... воробушка... голубиное... воронье...

– Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты, деревенщина! – захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.

– Какая ты злая, гадкая! – бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая несколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.

Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которой я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.



Воспитанницы Смольного института в гостиной. 1889 г.

Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине Вдовьего дома Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от

непрекращающихся интриг, дразг и ссор. После жизни во Вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неутомимая натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканием, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, неводержанная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить направо и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.

Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатией которых тоже не пользовалась. Вечно изоцряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лица в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С таким же индифферентизмом и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, – особенно высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.

Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мовешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней со своею благодарностью. Однако мне пришлось не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.

Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всю свою последующую жизнь она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.

За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил.

Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же, не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подошло от голоду!» Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.

Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически.

Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которую она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.

Однажды утром после звонка на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужила 12 с плюсом и большую похвалу от учителя.

На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к богу, умоляя

его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазма сдавила ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-нибудь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе она умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно, – у «тапан» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывая на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т. п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала: «Дитя мое! вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?»



Воспитанницы на уроке. 1889 г.

«Моя мать и в крепостническую эпоху придавала большое значение приобретению знаний, но тогда она смотрела на это с утилитарной точки зрения. «Больше будешь знать, больше будешь зарабатывать», – говорила она своим детям»

(Елизавета Водовозова)

После окончания урока мы строились в пары, чтобы идти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она ввиду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!» Конфузливо

улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиравась между парами.

Фанни менее, чем кто-нибудь из нас, должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничною пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьею кожей»⁹ – любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке.

Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо, мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и по-прежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине, – и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвести. С подругами она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» – «Что ты все говоришь – у вас да у вас? У нас то же, что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» – насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!» – отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегиею не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках тоже относилась к ней весьма любезно, но m-lle Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.

– Это что такое?..

– Маме письмо.

– Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?

– Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.

Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.

– Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого кроме полек никто здесь не понимает? Смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классною дамой? С тех пор как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею матерью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?

Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.

⁹ «Девичьей кожей» называлась пастила из корня просвирняка, употреблявшаяся как средство от кашля.

– Дрянь! Плакса! – бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса. Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.

Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услышали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, класные дамы.

– Не смей выходить из дортуаров! – кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы. В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-lle Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной, пробежавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать... А тут такое, такое!..» – и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.

И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали, – побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.

Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя, в чем дело, произнесла:

– Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни со своими родственниками.

– О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? – как только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.

– Как, вы этого не знаете? – закричала Тюфяева. – Ах вы, фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.

Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные» как старших, так и младших классов пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, спрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по несколько раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.



Преподаватели Смольного института. 1889 г.

Как только Фанни привели в лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, m-lle Верховская в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и m-lle Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидела особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли уже извещенные о событии дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерное презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!» Голембиовская как ужаленная вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время, подняв глаза к небу, то есть к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немислимо отвечать на это что бы то ни было.

– Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею? – вскричала m-lle Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской. – Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?

Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.

Фанни пришла в сознание ненадолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которою неизменно следовали Верховская и Тюфяева, – им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла, как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классною дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.

Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.

После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки¹⁰.

¹⁰ Подобные случаи не были в Смольном институте редкостью. А. Лазарева, например, рассказывает о драматической судьбе своей дочери, поступившей в институт в 80-х годах. Из этих воспоминаний видно, что порядки там остались те же, что в 60-х годах. Дочь Лазаревой, «13-тилетняя, хорошо приготовленная девочка, была принята в 3-й класс, где большинство подруг ее были 15–17 лет. Тихая, застенчивая, впечатлительная и нервная, она терялась при каждом окрике. А с поступления в институт она ничего, кроме крика, брани, толчков, не слыхала и не видела. Никто не сказал ей доброго слова, никто же не принял участия, никто не помог ей. Все, на себе испытавшие, знают, какое тяжелое время переживают вновь поступающие, особенно если они попадают в класс, прошедший уже несколько лет институтской жизни. Ежедневные крики, брань, издевательства над новенькой, вроде обливания холодной водой, когда она засыпала... крики классной дамы за все и про все... крики инспектрисы, чуть не каждый день отчитывавшей класс, и т. д. – все это не могло не подействовать на девочку. Она не выдержала, и я через три месяца вынуждена была взять ее совсем из института по совету профессора Мержеевского, предупредившего меня, что девочку ожидает столбняк, если я ее не возьму немедленно. И долго потом я ничем не могла вызвать улыбки на ее лице» (Лазарева А. Воспоминания воспитанницы Патриотического института дореформенного времени // Русская старина. 1914. № 8. С... 230–231).

Глава II

Жизнь институток

Суровая дисциплина. – Холод, голод и посты. – Преждевременное вставание. – Охлаждение к родителям. – Презрение к бедным родственникам. – Традиционное обожание и причина этого явления. – «Отчаянные» и их значение. – Произвол классных дам

Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприятна, неудобна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы лечь в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой.

В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар. «Для первого раза, так и быть, оставь салоп, – сказала она, – но помни, что у нас это строго запрещено».

Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! Торопитесь!»

Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя и с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно было так рано подниматься с постели в окончательно остывшей спальне и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.

Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас от сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация (перемена – от *лат.* *recreatio*. – *Примеч. Е. Н. Водовозовой*), звонок извещал о необходимости идти в столовую, – одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» – вот что мы слышали с утра до вечера.

Хотя утренняя молитва происходила в семь часов, следовательно, на наш туалет полагался целый час, но этого времени едва хватало; институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которой лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. Застегнуть платье назади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавички под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), повесить их жгутами на затылке, пришить бант в самом центре – на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая – для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно

было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока наконец с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изошрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.

Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но большая часть и этих развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На масленой неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в рождество – елку на счет воспитанниц и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастью, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцевали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Похохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немислимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцевать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.



Таврический сад – памятник садово-паркового искусства в центральной части Санкт-Петербурга. Располагается в квартале, ограниченном Кировой, Потемкинской, Шпалерной и Таврической улицами

Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены своими классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада.

Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу ледящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку¹¹. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла,

¹¹ О казарменном распорядке жизни в Смольном институте оставили свидетельства как педагоги, пришедшие с Ушинским, так и постоянно служившие там. В. И. Водовозов писал в «Секретных воспоминаниях пансионерки», что жизнь институток «напоминала правильность солдатского строя или шахматной доски, по которой, сколько бы вы ни двигали пальцем, все очутится в одинаковом четверугольнике» (Отечественные записки. 1863. № 8. С. 511). Стены Смольного «давят нынешних наших молоденьких девиц», читаем мы запись 1850 года в дневнике классной дамы Смольного В. П. Быковой (Быкова В. П. Указ. соч. С. 197).

размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум – и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.

Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здоровья увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся мало усидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.

Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье – драчена или пирожок со скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп¹². В обед – суп с крупой, второе – отварная рыба, называемая у нас «мертвечиной», или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье – крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.

Институт стремился сделать из своих питомцев великих постниц. Мы постились не только в Рождественский и Великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в Великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена

¹² Овсяный суп – от нем. Haber.

была наконец комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в Великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в Рождественском – не более двух, но по средам и пятницам постничали по-прежнему.

Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное, и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.

Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день, решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы *промыслить* себе «кусок», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты, – вот мы к ней и подъедем», – сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу подруг, указывая на то, что ее учительница музыки – особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.

– Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!.. – И просительницы убегают. Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.

– Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим! – пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним, стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.

– С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!

– Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся... Купи нам по этой записке...

– Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться... Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки... Прямо говорите, на сколько купить и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.



Галерея второго этажа жилого флигеля Смольного института

Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленную печку на том или другом коридоре.

– Пойду еще печки щупать, – грубо ворчит сторож, – суну под лавку в нижнем коридоре – вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете...

Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают разделить трапезу.

Несмотря на то что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так и своекоштные должны были получать от казны все необходимое, каж-

дой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов, – эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках, – выделять в них антраша и пируэты не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой танцевавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно, надеясь на то, что начальство обратит наконец внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.

Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или, во всяком случае, значительное мужество для того, чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность – не порок, то гораздо хуже всех пороков.

В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего, тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь по крайней мере рублей пятнадцать-семнадцать. Но и этою суммою мудрено было ограничиться: перед рождественскими праздниками воспитанницы устраивали в складчину елку, перед пасхою необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дьяконом, с учителями, инспектрисою.

Существовал обычай праздновать именины, то есть угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивалось сразу несколько рублей; было и множество других расходов, – избежать их было чрезвычайно мудрено. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все, что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.

В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напоминавшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставлял ее все глубже погружаться в тину институтской жизни,

все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-помалу возникали недоразумения, – прежде всего на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла, или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбой дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест – единственное украшение, которое вам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.

Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. М-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся, выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она, хотя на несколько часов, оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости¹³. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.

– Дети! Я еду в гостиный двор, – объявляет она. – Что кому нужно?

Одна просит купить мыло, другая – помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».

– Что тебе за охота мыться такую дрянью? Я за шестьдесят копеек куплю тебе превосходное мыло...

– Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, а раньше как через три месяца мне не пришлют денег из деревни.

– Как хочешь. Я могу купить и в пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом в прачечной белье моют. Ведь от него, пожалуй, салом несет!..

– Тогда, пожалуйста, mademoiselle, купите такое, какое вы советуете, – спешит заявить воспитанница, опасаясь рассердить Верховскую своим упорством и заставить ее заподозрить себя в расчетливости.

Так бывало с маленькими воспитанницами, а в старшем классе они уже привыкали к дорогим туалетным принадлежностям и сами просили не покупать дешевых.

¹³ Смольный был тюрьмой не только для воспитанниц, но, хотя в меньшей степени, и для классных дам. Им разрешалось лишь изредка отлучаться из института. «...Мы не дежурные и считаемся свободны, – читаем в дневнике классной дамы Смольного В. П. Быковой (запись относится к ней и ее сестре А. П. Быковой, также служившей в Смольном в качестве классной дамы), – но все-таки являйся к детскому столу в 12 часов утра и в 8 часов вечера. Никуда выехать нельзя» (Быкова В. П. Указ. соч. С. 249).



Воспитанницы Смольного института с преподавателями и классными дамами.

*«Женщина, – слышали мы чуть не на каждой его лекции, – самое возвышенное, самое идеальное существо. Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду... Только женская грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску и тяжесть одиночества»
(Елизавета Водовозова)*

Там, где классные дамы не подбивали воспитанниц на покупку дорогих вещей, они вынуждали их тратить на что-нибудь другое. Например, у одной классной дамы, Лопаревой, была страсть навязывать лотерейные билеты, чем она, вероятно, оказывала услугу кому-нибудь из своих знакомых. Несмотря на то что раздача их была сопряжена для нее с некоторыми неприятностями, она продолжала делать свое.

– Кто из вас возьмет лотерейный билет? Всего по четвертаку... Прехорошенькие вещицы на выигрыше: салфеточки, запонки, пряжки, подушки для булавок...

Все молчат.

– Долго я буду дожидаться? Павлухина, ты сколько берешь?

– Не знаю, право...

– Кто же знает, если ты не знаешь? Говори же наконец...

– Один...

– Один? Да чего же ты боишься? Ведь если ты возьмешь даже четыре билета, у тебя все же останется еще два рубля!..

– Хорошо.

Лопарева немедленно записывала за Павлухиной четыре билета.

– А ты, Осипова, сколько берешь? Хотя у меня нет твоих денег, но я с удовольствием одолжу тебе до приезда твоего отца.

– Как же мне просить у него денег на лотерею, когда он только что купил мне ботинки и перчатки? Он, наверно, откажется: скажет, что мне не нужны здесь ни запонки, ни салфетки, которые разыгрываются.

– Можешь сказать твоему отцу, что билеты эти берутся не для того, чтобы что-нибудь выгадать для себя, а чтобы помочь несчастному семейству. Если ваши родители не приучили вас дома к состраданию, то мы обязаны делать это.

После такого внушения билеты разбирались, хотя по-прежнему весьма неохотно, но беспрекословно. Дело доходит до воспитанницы Петровой, одной из «отчаянных». М-лле Лопарева, не ожидавшая ничего хорошего для себя от этой воспитанницы, уже повернулась, чтобы уйти в свою комнату, но та сама подошла к ней и отчеканила:

– Денег для этих билетов я просить не буду... Моя мать не знает несчастного семейства, в пользу которого вы распродаете билеты... Нам и для собственной еды приходится то и дело клянчить деньги у родителей...

– Гадина! Пошла прочь! – вскричала Лопарева и изо всей силы хлопнула за собою дверь.

– Счастливая! Сумела отвязаться от проклятых билетов! – с завистью говорит Петровой одна подруга. – Как бы я хотела быть такою же отчаянной, как ты! Да вот не могу...

Дорого обходились нам и наши горничные; в каждом дортуаре служила одна из них. Она обязана была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы, а также служить как нам, так и ей. Она действительно убирала дортуар, но служила исключительно классной даме. Нужно заметить, что воспитанницы обязаны были сами убирать свои кровати и ящики табуретов. Если перед уходом в класс кто-нибудь из нас забывал это сделать или плохо выполнял эту обязанность, ее бранили и наказывали. Если горничная по уходе воспитанницы замечала беспорядок на ее кровати или в табурете, она старалась исправить эту небрежность, но только для той, которая покупала ее любезность; на беспорядок же у воспитанницы, от которой она мало получала, она нередко даже обращала внимание классной дамы. Несмотря на то что каждая воспитанница дарила горничной деньги за ее услуги, дортуарная дама два раза в год (в Пасху и Рождество) делала сбор на покупку для нее подарка. Вследствие этого дортуарные горничные сравнительно с остальной прислугой института быстро наживались, что давало им возможность через несколько лет после вступления в эту должность выходить замуж. Тут уже воспитанницам предстояла трата более значительная, чем все предыдущие.

– Дети! – обратилась к нам однажды m-лле Верховская. – Дортуар mademoiselle Лопаревой сделал прекрасное приданое своей горничной. Смотрите же и вы, не ударьте в грязь лицом... Подумаем сообща, что кому из вас попросить у родителей для Даши. Ты, Маша, что собираешься сделать для нее?

– Полдюжины носовых платков...

– Прекрасно, но ведь это же пустяки! Мы вот как устроим это дело: пусть каждая из вас купит для нее какой-нибудь пустячок в приданое и что-нибудь существенное. Ольга! Твоя сестра имеет много вкуса: она сумела бы выбрать для нее простенькое, но хорошенькое подвенечное платье! Какой-нибудь недорогой шерстяной материи... Ну, а еще купи ей, например, чулки или что-нибудь в этом роде...

Между тем сестра этой воспитанницы не имела собственных денег; ее муж сам покупал для нее наряды, но таких интимных сторон жизни институтка уже никогда не передавала классной даме.

– А твоя мама, Аня? Я знаю... она не может много тратить! (Верховская намекала на то, что мать этой воспитанницы была бедна, так как она приходила в институт очень скромно одетою.) – При этом намеке воспитанница краснела от стыда. – Она может не покупать

нашей невесте никакого пустячка, но пусть приобретет для нее только полдюжины готовых рубашек. Это не обойдется ей очень дорого!.. А ты что?

– Перчатки.

– Неужели только? Подумай сама, какое же составит приданое, если одна из вас подарит перчатки, другая – полдюжины носовых платков... Вам нечего скаречничать! Ведь вы собираете на Дашу в последний раз.

А между тем в нашем дортуаре уже вторая горничная выходила замуж, к тому же сборы на праздничный подарок происходили регулярно.

Некоторые воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два, за три месяца она обыкновенно говорила горничной о том, что ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до той поры, пока скопит себе деньги. Иногда воспитанницы в складчину покупали какой-нибудь подарок, иногда несколько воспитанниц дарили ей отдельно каждая, – только Верховская никогда не принимала подарков.

В одном из дортуаров две воспитанницы-сестры положили на стол своей классной дамы большой изящный ящик с чаем, обтянутый атласом и затканый выпуклыми китайскими фигурами.

– Кто из вас положил мне это? – спрашивала классная дама, входя в дортуар с ящиком в руках.

– Мы, mademoiselle, – отвечали обе сестры.

– Но кто же из вас? Ты или твоя сестра? – насмешливо улыбаясь, переспросила дама.

– Мы обе! – отвечали удивленные сестры. Подарок был сравнительно дорогой – несколько фунтов высокого сорта желтого чая; но классная дама, вероятно, не подозревала его ценности, а может быть, потому, что рассчитывала получить другое, она не постыдилась в упор поставить такой вопрос.

Охлаждению между родителями и дочерью содействовал и весь строй институтской жизни. Нужно помнить, что в ту пору институт был совершенно закрытым заведением: воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, и они мало-помалу забывали обо всем, что делалось вне их стен. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным, – их отчуждение от родителей и родного гнезда росло все быстрее. Скоро у них не хватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она «обожает», сколько раз в эту неделю она встретила «обожаемый предмет», не утаит и того, как она была наказана, за что на этих днях придиралась к ней «ведьма», какой балл она получила у учителя, – и материал для разговора исчерпан. Мало того, она замечает, что и эти новости, для нее столь значительные, совсем не интересуют ее родных, а ее братья и кузены относятся к ним даже насмешливо. Это ее раздражает и мало-помалу озлобляет против своих. Она старается все меньше знакомить их с событиями институтской жизни и иногда через минут десять после свидания совсем умолкает, а между тем ей приходится сидеть с родными в приемные дни часа два и более.

Расширение умственного кругозора учениц посредством преподавания могло бы еще поддерживать между родителями и их дочерью интерес друг к другу, но в то время, которое я описываю, оно в России всюду было поставлено очень плохо, а в Смольном еще того хуже. Подходящего чтения, которое могло бы хотя несколько заинтересовать учениц, не существовало. Если и было несколько любительниц чтения (их вообще было крайне мало), то они читали плохие французские романы в оригинале, а еще чаще в безграмотных переводах.

Классные дамы – наше непосредственное и ближайшее начальство – не могли и не желали возбуждать в нас стремление к чтению. Сами крайне невежественные, они настойчиво проповедовали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности – религию. «Остальное все, – как без стеснения

выражалась m-lle Тюфяева, – пар и, как пар, быстро улечитя... Вот я, например, после окончания курса никогда не раскрывала книги, а, слава богу, ничего из этого дурного не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня».

В дореформенное время нас не обучали естественным наукам, и мы никогда ничего не читали по этим предметам. Да и могли ли они нас интересовать при нашей затворнической жизни? За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают сгущаться, – нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. Все эти апартаменты производили на новенькую удручающее впечатление чего-то холодного, неуютного, что заставляло от страха замирать робкое детское сердце, но проходил год-другой, и никто из нас не обращал на это внимания, никто не находил эту обстановку ни постылою, ни странною. Спрашивается: почему не могли окрасить стены каждого дортуара в особый цвет, обвести их сверху каким-нибудь цветным бордюром и тем придать спальне менее казенный вид? Кроме приемной залы, где были портреты царской фамилии, стены были повсюду совершенно голые. Почему не могли повесить на них портретов знаменитых писателей, олеографии (многокрасочные печатные копии – от *лат.* oleum и *греч.* grapho) с историческими сюжетами, пейзажи красивых местностей? Почему не позволялось воспитанницам прикреплять к изголовью кроватей фотографии родителей и родственников, почему запрещено было ставить на подоконниках горшки с цветами, за которыми могли бы ухаживать воспитанницы? Все это хотя несколько скрашивало бы однообразие жизни, возбуждало бы человеческие чувства, хотя слабо поддерживало бы любовь к прекрасному.



Жилой флигель Смольного института.

Институтки вставали в шесть утра и имели строго регламентированный распорядок дня, подчиненный пользе их воспитания: в день могло быть до 8 уроков. Девушек закаляли, поэтому температура в спальнях не превышала 16 градусов, спали они на жестких кроватях и умывались холодной неводской водой

Этот казарменный режим, вытравлявший любовь к родителям, привязанность к родному гнезду, и другие человеческие чувства, клал особенно постыдный отпечаток на отношение воспитанниц к бедным родственникам. Как краснели они, когда в приемные дни им приходилось садиться подле плохо одетых матерей и сестер! Как страдала институтка, когда в это время, нарочно, чтобы переконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к ее родственнице с каким-нибудь вопросом на французском языке, которого та не знала. Конечно, в таких случаях классные дамы могли только бросать презрительно-насмешливые взгляды, но вслух редко решались выразить свое презрение. Однако, желая дать это почувствовать воспитаннице, они зачастую останавливали свое внимание на особах, являвшихся в институт в модном туалете. Провинится, бывало, в чем-нибудь воспитанница, имеющая богатых родных, и классная дама замечает: «Воображаю, как тяжело будет твоей достойной матушке узнать о твоём дурном поведении!» А между тем все достоинство этой матери, с которой классная дама никогда не сказала ни слова, состояло только в том, что та являлась в приемную в богатом туалете. Не мало было таких случаев: воспитанницу спрашивают, кто у нее был в последнее воскресенье. «Няня», – отвечает та, и не только классной даме говорит она это, но и своим подругам, а между тем к ней приходила ее родная мать, но она была бедно одета, и институтка отреклась от родной матери. Вот как был велик ужас сознаться в бедности своих родителей! Ни с кем не разговаривая в институте о

семье, если она не была богатою, воспитанница скоро забывала о своем тяжелом материальном положении и делалась все более чужою и далекою членам своей родной семьи. Матери, несколько лет не выдавшие своих дочерей после их определения в институт, обыкновенно поражались нравственною переменою, происшедшею с ними за время разлуки.

Постепенно утрачивая естественные чувства, институтки сочиняли любовь искусственную, пародию, карикатуру на настоящую любовь, в которой не было ни крупинки истинного чувства. Я говорю о традиционном институтском «обожании», до невероятности диком и нелепом. Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а в младших классах и воспитанниц старшего возраста. Встретит, бывало, «адоратриса» (так называли тех, кто кого-нибудь обожал) свой «предмет» и кричит ему: «adorable», «charmante», «divine», «celeste» («восхитительная», «прелестная», «божественная», «небесная» – *франц.*), целует обожаемую в плечико, а если это учитель или священник, то уже без поцелуев только кричит ему: «божественный», «чудный»! Если адоратрису наказывают за то, что она для выражения своих чувств выдвинулась из пар или осмелилась громко кричать (классные дамы преследовали нас не за обожание, а лишь за нарушение порядка и тишины), она считает себя счастливою, сияет и имеет ликующий вид, ибо она страдает за свое «божество». Наиболее смелые из обожательниц бегали на нижний коридор, обливали шляпы и верхние платья своих предметов духами, одеколоном, отрезывали волосы от шубы и носили их в виде ладанок на груди. Некоторые воспитанницы вырезали перочинным ножом на руке инициалы обожаемого предмета, но таких мучениц, к счастью, было немного.

Мне так часто приходилось упоминать об «отчаянных», что я хочу сказать о них несколько слов. Как это ни странно, но «отчаянные» вследствие своего дерзкого поведения пользовались у нас некоторыми преимуществами. Хотя начальство их жестоко ненавидело, но в то время как классные дамы за ничтожные провинности награждали трепкой и пинками «кофулек», они несравненно более стеснялись с «отчаянными», особенно старшего класса, которые могли наговорить им много неподходящего; классные дамы называли это дерзостями, а большая часть воспитанниц – «правдою». Эта «правда» роняла авторитет дам перед классом, и они многое спускали «отчаянным», только бы лишний раз не услышать их дерзкие речи.

Существование «отчаянных» приносило некоторую пользу и остальным воспитанницам: во-первых, большинство их защищало не только собственные интересы, но и интересы класса, вступаясь чаще всего за тех, которые были несправедливо наказаны. Можно смело сказать, что отчаянное поведение некоторых воспитанниц старшего класса, где они были уже более находчивыми, несколько ослабляло грубый произвол и самодурство классных дам.

Каким образом могли существовать отчаянные, когда начальство всегда могло выбросить их из института? Происходило это, вероятно, потому, что не так-то просто было уволить из института воспитанницу, которая была не по душе начальству. Когда начальница, осведомленная о дурном поведении той или другой воспитанницы, доносила об этом (еще в гораздо более ранние времена, чем те, которые я описываю) императрице Марии Федоровне, та не поощряла таких жалоб, а напротив – ставила их в величайшую вину не только классным дамам, но и начальнице. Даже гораздо позже, когда высшее заведование институтом перешло к императрице Александре Федоровне, которая сравнительно с предшествующею государынею почти не занималась институтом, император Николай Павлович лично просил начальницу Леонтьеву оставить все порядки, весь строй и дух института, как это было при его матери, императрице Марии Федоровне. Однажды Леонтьева донесла императрице Александре Федоровне о том, что одну из воспитанниц следовало бы выключить за шалости. Императрицу это расстроило, тем более что она в это время была больна. Узнав об этом, Николай Павлович был страшно взбешен, что таким сообщением потревожили его супругу

во время ее болезни, и немедленно приказал передать Леонтьевой, чтобы она не смела расстраивать его супругу донесениями о таких пустяках, как школьные шалости институток, и еще раз строго подтвердил, чтобы она всецело руководствовалась правилами, введенными для институтов его покойною матерью. После того Леонтьева, видимо, была более осторожна в своих донесениях: в ее письмах к императрице Марии Александровне проглядывает уже другой характер. «Некоторые девушки слишком резвы, но это так естественно в их юном возрасте», – вот в каком тоне писала она новой императрице. Вероятно, императрица Мария Александровна тоже не выказывала желания легко выключать воспитанниц из института. За все время моего воспитания из института были уволены только две воспитанницы и два раза хотели уволить меня, но это не удалось ни в тот, ни в другой раз. Вообще выкинуть воспитанницу из института было не так-то легко, в чем я убедилась впоследствии по собственному опыту, и вот этим-то я объясняю существование у нас «отчаянных».

Нравственное воспитание у нас стояло на первом плане, а образование занимало последнее место; вследствие этого наши учителя не имели никакого значения в институте. Все воспитание было в руках классных дам, являвшихся нашими главным руководительницами и наставницами.



Мария Александровна (1824–1880) – принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III

Дочь бедных родителей, окончив курс в институте, шла в гувернантки, – это было почти единственное средство заработка для женщины того времени. Она могла быть и учительницей в пансионе, но их было слишком мало, чтобы приютить всех желающих. Институт редко принимал в классные дамы очень молодых девушек, а потому им по окончании курса в институте волей-неволей приходилось начинать свою жизнь с гувернантства.

Умственно и нравственно неразвитая, – все ее образование заключалось в долбне и в переписывании тетрадей, – белоручка по воспитанию и привычкам, она не могла заинтересовать детей своим преподаванием, не имела и практического такта для того, чтобы дать отпор тогдашним избалованным помещичьим детям. Положение гувернантки в крепостнический период было вообще самое печальное, а положение гувернантки-институтки вследствие полной неподготовленности к жизни было еще того хуже¹⁴. Меняя одно место на другое, выпив до дна полную чашу обид и унижений, девушка после нескольких лет гувернантства доживалась наконец места классной дамы, если только, конечно, во время своего институтского воспитания она сумела хорошо зарекомендовать себя перед начальством. За время гувернантства она не обновила своего умственного багажа, а только испортила характер и явилась на казенную службу уже особою озлобленной, с издерганными нервами, мелочною и придирчивою. Окруженная молодыми девушками, она не могла без зависти смотреть на молодые лица. В этом возрасте и она мечтала о счастье взаимной любви (других мечтаний в то время у молодой девушки не бывало), и они, как она, тоже, вероятно, рассчитывают выйти замуж за богатых и знатных, которые с обожанием будут склонять колени перед ними. Но ее мечты не осуществились, ее встретили в жизни лишь тяжелая зависимость и неволя... И с ними, – думала она, – будет то же, что и с нею, но они счастливее ее уже тем, что еще могут надеяться и мечтать!.. И новая классная дама сразу становилась с воспитанницами в официальные отношения, а затем делалась все более придирчивою и злою. Ее гувернантство не дало ей педагогической опытности, а если бы она и приобрела ее, то не могла бы применять ее в институте, где существовали особые правила и традиции для воспитания и где весь строй жизни был противоположен семейному.

В качестве классной дамы она продолжала влечить свою жалкую жизнь, не скрашенную даже привязанностью воспитанниц, вверенных ее попечению. Через несколько лет своей службы она уже была на счету «старой девы», и наконец сама приходила к окончательному выводу, что жизнь ее обманула, что больше ей уже не на что рассчитывать, и, разочаровавшись во всем и во всех, она начинала думать только о своем покое. Вот почему классные дамы так ревниво охраняли мертвую неподвижность, вот почему они не допускали шума даже во время игр и забав. Невежественные, мелочные, придирчивые, многие из них были настоящими «фуриями» и «ведьмами», как их называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, чувствительно теребили их; со старшими было немислимо позволять это себе, но зато их можно было наказывать за всякий пустяк: за недостаточно глубокий реверанс, за смех, за оборванный крючок платья, за спустившийся рукавчик, за прическу не по форме и т. д. до бесконечности.

К классной даме принято было обращаться *только* с просьбою: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнений на фортепьяно», «Позвольте мне выйти в коридор», но вступать с нею в простой, человеческий разговор считалось непозволительною фамильярностью. Самым обычным наказанием было сорвать передник, поставить к доске на несколько часов, что обыкновенно сильно мешало приготовить уроки к следующему дню. Некоторые классные дамы, наказывая воспитанницу младшего класса, не позволяли ей плакать: резко отрывая носовой платок от глаз ребенка, они кричали: «Souff rez votre punition, souff rez» (Терпите ваше наказание, терпите – *франц.*). Этим достигали того, что дети скоро переставали стыдиться наказания, а в старшем классе к нему уже относились совершенно равнодушно, как к неизбежной повинности. Я не буду говорить особо о наказаниях, так как о них то и дело приходится упоминать в этом очерке, но не могу не сказать несколько слов об

¹⁴ Эти мысли о положении девушек-гувернанток Е. Н. Водовозова более широко развила в статье «Что мешает женщине быть самостоятельной?», написанной по поводу романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (Библиотека для чтения. 1863. № 9).

одном из них, тем более что оно совершенно подрывало физические и нравственные силы девочек.

Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастье случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно лишь в первый год их вступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшем классе редко кто из девочек понимал позор доноса на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастье с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали и одна из них замечала, что у подруги не все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы – из какого дортуара эта особа? Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.